

Лион Фейхтвангер

ДОМ НА ЗЕЛЕННОЙ УЛИЦЕ

Среди множества своеобразных ритуалов у нас, евреев, есть один, которым я, впервые постигнув его смысл, был особенно глубоко взволнован. В первый пасхальный вечер мы пьем вино, празднуя свое избавление от египетского рабства. Но прежде чем осушить кубок, мы отливаем из него десять капель, памятуя о десяти казнях, которые бог наслал на египтян. Мысль о страданиях наших врагов уменьшает радость, наполняющую наш кубок, – на десять капель.

Благодаря этому обычаю я уже с малых лет понял, что враги мои – тоже люди, и никогда слепо не радовался их поражению или гибели.

И все-таки один раз гибель ненавистного человека обрадовала меня безмерно, и я не испытал при этом ни малейшего желания пожертвовать хотя бы одной каплей этой радости. Произошло это, когда я узнал, что государственный советник Франц Диркопф убит бомбой.

Я познакомился с Францем Диркопфом в доме профессора Раппа в прирейнском университетском городе Баттенберге. В то время я работал над одним из романов об Иосифе и занимался изучением истоков христианства. Я поехал к профессору Раппу, потому что он был автором ряда статей по этому вопросу, представлявших для меня особый интерес.

Профессору Карлу Фридриху Раппу на вид было лет шестьдесят пять. Это был человек очень маленького роста, его большеротое, изборожденное глубокими морщинами лицо обрамляли длинные, ослепительной белизны волосы, а пронизательные, беспощадно насмешливые глаза глядели из-под широкого лба молодо, ясно и пламенно.

Профессор Рапп посвятил свою жизнь решению одной задачи: он стремился вылущить из предания об Иисусе Христе зерно исторической истины. Он накопил несметные сокровища познаний, в Иерусалиме первого века христианской эры он ориентировался лучше,

чем в родном Баттенберге, и лучше знал горные деревушки тогдашней Галилеи, чем местечки Шварцвальда или Таунуса. Ему принадлежали новые, поразительные открытия. Но свои взгляды он отстаивал с такой страстной непримиримостью, что нажил себе много врагов; ему пришлось отказаться от кафедры, и в широких кругах его фактически никто не знал.

Он нисколько не скрывал, что моя глубокая заинтересованность его трудами доставляет ему удовольствие. С гордостью и нежностью показывал он мне свои книги и рукописи, – среди них попадались такие сокровища, что любой знаток мог бы ему позавидовать.

Позднее, за столом, я познакомился с его женой и дочерью. Фрау Паулина Рапп, образованная дама с приятными манерами, мало интересовалась событиями внешнего мира. Дочь Гедвига была хороша собой, но красота ее не бросалась в глаза; особенно прекрасны были ее глубокие, умные глаза.

Я пробыл в Баттенберге дольше, чем намеревался. Мне нравилось в доме на Зеленой улице. Дом стоял за городом, среди леса и гор, строгая красота окружающей природы радовала глаз. Дом был старый, прихоти и вкусы многих поколений оставили свой след на его архитектуре; бесчисленные коридоры и лестницы переплетались друг с другом, образуя настоящий лабиринт. Профессор обставил его с любовью и приспособил к своим привычкам. Здесь был огромный письменный стол, украшавший некогда трапезную бенедиктинского монастыря, с горами книг и бумаг, за хаотическим нагромождением которых угадывался строгий порядок; перед сидящим за этим столом открывался пейзаж, восхищающий спокойным разнообразием красок. Здесь стояли шкафы и полки с книгами и манускриптами. Здесь была античная скульптура – женская голова больше натуральной величины, – сивилла, как пояснил мне профессор. Примирение и неподвижно глядела она вперед.

– А вам не кажется, – проговорил неожиданно профессор, – что когда к ней снисходит божество, она способна «негодующими устами вещать о невеселом, о неприкрашенном и неприкрытом»?

Вокруг дома на холмах раскинулся сад, обнесенный каменной оградой. И он тоже напоминал лабиринт. Был там альпинарий – большое каменное сооружение, увитое, в итальянском вкусе, ползучими растениями, английские газоны и купы деревьев в

немецком стиле. Гордостью профессора были великолепные клены. Дом, подобно его владельцу, был старый, молчаливый, замкнутый и все-таки полный жизни.

Профессор Рапп, познавший горечь ревнивой неприязни со стороны своих ученых коллег, с каждым днем проявлял все большую симпатию ко мне – человеку, который судил о его теориях без всякой зависти, с объективностью доброжелателя. Прошло немного времени, и он поведал мне свою великую тайну.

Вот в чем она состояла: ни у кого из языческих авторов первого века нашей эры нет свидетельств о жизни и деяниях Христа. И вот теперь, сообщил мне профессор Рапп с нескрываемым торжеством, он обнаружил в одном из схолиев цитату из «Stemmata» некоего Симмаха Милетского, недвусмысленно указывающую на то, что в те времена действительно существовал человек, по описанию похожий на евангельского Христа в большей мере, чем любая из исторически засвидетельствованных личностей. Место сначала казалось темным, объяснения профессора – туманными; и все же его интерпретация была смелой и убедительной. Его доказательства и выводы могли бы выдержать самую строгую проверку с точки зрения филологических, конкретно-исторических и любых других научных критериев. Если в сочинениях языческих писателей первого века имеется хоть один отрывок, который возможно было бы признать свидетельством существования Христа, то это цитата, которую нашел профессор Рапп.

Возвестить миру о своем великом открытии профессор намеревался только в труде «Жизнь Иисуса», над которым работал уже много лет и где цитате отводилось центральное место. До опубликования этой книги источник должен был оставаться в тайне.

Мне он тоже не показал его.

– Не думайте, что я не доверяю вам, друг мой, – пояснил он мне любезно, с наивным лукавством, – но поймите сами, такое сокровище оберегаешь даже от жены и детей. Случайный намек – и какая-нибудь старая, завистливая архивная крыса, воспользовавшись этой цитатой, лишит ее для меня всякого обаяния.

Поэтому профессор Рапп спрятал манускрипт со схолиями в надежное место, он лежал вместе с его толкованием в нескороаемом

шкафу.

– Вот ключ, – проговорил он с ворчливым лукавством и гордо, с любовью посмотрел на него. – Но в каком банке находится сейф, который отпирается этим ключом, – неизвестно никому, кроме моей жены.

Итак, в доме профессора Раппа я и встретил того самого Франца Диркопфа, о котором упомянул в самом начале этого повествования. Ему было около тридцати, когда я увидел его в первый раз. Это был высокий господин с очень белой кожей, волосами, светлыми, как песок, и с бесцветными бегающими глазами. Он был приват-доцентом Баттенбергского университета, работал в той же области, что и Рапп, и был любимым учеником профессора. Он часто приходил в дом на Зеленой улице и всегда был желанным гостем для его обитателей. Правда, с Гедвигой у него, по-видимому, были сложные отношения. Она зло подтрунивала над ним и старалась уколоть намеками, которые третьему лицу были непонятны. Он отвечал вежливо, но иногда в его вежливости чувствовалась какая-то натянутость, а когда ему казалось, что на него никто не смотрит, в его бесцветных глазах вспыхивала злость. Гедвига же, если он был занят разговором, изредка бросала на него быстрые взгляды, и тогда на лице ее – казалось мне – можно было прочесть выражение печали, даже страдания.

Пожалуй, я не сумел бы назвать причину моей антипатии, но только доктор Диркопф не нравился мне. Никакие славословия господина и госпожи Рапп и их дочери, превозносивших его до небес, не могли заглушить неясное чувство неприязни, которое внушали мне его бесцветные юркие глазки и подчеркнутая любезность.

Франц Диркопф, как я узнал позже, с самого своего рождения был связан с домом на Зеленой улице. Его родители занимали домик привратника; отец был садовником и служил у профессора, мать убирала комнаты. Обычно она приводила с собой маленького Франца. Профессору нравился смысленный мальчик, которого с первого же дня неотразимо влекло к книгам из его богатой библиотеки. Он рассказал мне, как однажды массивный Филон^[1] в переплете из свиной кожи чуть не убил маленького Франца. А позднее Рапп, не жалея средств,

помог одаренному юноше получить образование и открыл ему путь к блестящей карьере.

Я встречал молодого приват-доцента неоднократно, и не только в доме на Зеленой улице. Как-то раз я встретил его в кафе. Он сидел недалеко от меня в небольшой компании: мужчина с жирными складками на затылке, женщина и девушка. Очевидно, они хорошо поели и много выпили, за их столиком было шумно. Девушка, молодая, сильно накрашенная, сидела в небрежной, ленивой позе и тупо глядела на Диркопфа, так, словно он был ее собственностью.

Когда его знакомые ушли, Диркопф подошел к моему столу и, очевидно, желая сгладить невыгодное впечатление, которое могло у меня сложиться, заговорил со мной тоном величайшей откровенности, как с давним и надежным другом. Господин Шеффлер, с которым я его только что видел, был хорошим знакомым его отца, начал он, как бы оправдываясь. Франц Диркопф выпил совсем немного, но быстро захмелел и разоткровенничался больше, чем хотел бы. Он пространно, со всеми подробностями, рассказывал мне о доме на Зеленой улице. Полушутя, полусерьезно вспоминал он, что все вещи в этом доме были для него живыми. Он рассказывал образно. Совсем малышом он отправлялся в кругосветное путешествие вокруг гигантского письменного стола – это была эпоха великих открытий; иногда, тайком, он даже взбирался на этот стол и сидел там среди бумаг и книг, подобрав под себя ноги, – он плыл на корабле, о котором знал из рассказов отца, плыл по бурному морю, где отовсюду грозила опасность, но все было необычайно увлекательно. Он стоял с сильно бьющимся сердцем перед сивиллой и ждал, чтобы она открыла глаза. Большой фолиант Филона представлялся ему злым и опасным зверем, однажды он начал дразнить его, зверь сначала лежал смиренно, а потом чуть не убил его. Он бывал в этом доме бесчисленное множество раз, признавался он мне, но каждый раз, входя в него, он словно переступал порог нового мира, полного притягательной силы и опасности. Ребенком он нередко чувствовал себя там как в церкви; порой и сейчас, приходя в этот дом, он робеет, как школьник перед экзаменом. Он умел передавать свои чувства, я великолепно понимал, как неразрывно, живыми нитями, он был связан с этим домом, как весь он был полон почтительного благоговения, неодолимого желания, любви, страха и зависти.

Услышав, что мне известно о великом открытии профессора, он на минуту смутился, но тут же заговорил со мной еще более доверительно. Он с жаром рассуждал о значении этой находки. Как должен гордиться профессор! Ведь уже восемнадцать столетий христианские церкви всех направлений ищут с неутомимым усердием такой источник! Потом, не без некоторой горечи, он добавил, что сделать такое открытие – это не только большая заслуга, но и удача. Для этого необходима совокупность бесчисленного множества благоприятных условий: нужны время и деньги, нужны длительные поездки – даже без определенной цели, нужно быть меценатом, коллекционером, который всегда может заплатить и заставить библиотекарей, архивариусов и антикваров служить себе.

Затем Франц Диркопф с улыбкой заговорил о маленькой безобидной слабости профессора – о той ревнивой недоверчивости, с которой он прятал от всех свою находку. Эту цитату из Симмаха он, разумеется, и от него, Диркопфа, тоже держал в тайне. Диркопф очень сожалеет об этом. Дело в том, пояснил он, что, как бы ценен ни был сам текст документа, важно еще и то, как будет он использован именно при первой публикации. И если бы профессор позволил мне или ему или нам обоим принять участие в работе над первым описанием личности Христа на основании достоверных исторических документов, если бы он призвал на помощь творческие силы более молодых людей, это отнюдь не принесло бы вреда.

Но профессор был непоколебим, и даже когда два месяца спустя состоялось обручение Гедвиги с Францем Диркопфом, он упрямо и весело заявил, что доверил Францу свою дочь, но не цитату из Симмаха.

Еще до обручения Франца Диркопфа с Гедвигой к власти пришел Гитлер. Германия погрузилась во мрак, искусство и наука прекратили свое существование, большинство видных ученых, писателей, художников покинули страну.

Профессор Карл Фридрих Рапп остался, несмотря на то, что мог пострадать из-за своей репутации человека свободомыслящего. Он, видимо, не хотел прекращать свою большую работу, уже близившуюся к концу, и нуждался в книгах, которые ему не разрешили бы взять с собой за границу.

Из газет я узнал о его смерти. О том, что произошло в доме на Зеленой улице в первые годы существования Третьей империи, я узнал от фрау Паулины Рапп и Гедвиги, с которыми встретился впоследствии в Лондоне.

Франц Диркопф принимал самое горячее участие в обсуждении вопроса о том, следует ли уезжать из Германии. Он соглашался с профессором, считавшим себя не вправе бросать свой труд, и так как профессор остался, остался, разумеется, и он. Впрочем, Франц Диркопф несколько не был скомпрометирован в политическом отношении. Однако вскоре стало ясно, что женитьба на дочери либерально настроенного профессора не может не повредить его карьере, и поэтому в доме на Зеленой улице пришли к общему решению отложить свадьбу до краха Гитлера, который, конечно, не за горами.

Но власть Гитлера укрепилась. Профессор Рапп страдал от новых порядков в государстве, и работа его двигалась очень медленно. К тому же становилось все очевиднее, что он пишет в стол: выводы профессора противоречили тенденциям «церкви германских христиан»^[2], созданной национал-социалистами, и власти не разрешили бы напечатать его труд.

Тогда Диркопф предложил, чтобы профессор все-таки позволил ему принять участие в работе и открыл доступ к своим материалам. Он достаточно гибок и сможет изложить основные идеи труда так, чтобы власти ни к чему не могли придраться. Но только книга должна выйти в свет под его, Диркопфа, именем, хотя, конечно, он даст в ней правильное освещение заслугам профессора, сделавшего такое замечательное открытие. Старый профессор долго не мог понять, о чем идет речь. А поняв, закричал вне себя: «Подлец!» – и с этого дня перестал пускать Диркопфа к себе в дом.

Диркопф не сдался. Он обратился к помощи Гедвиги. Доказывал ей, что, если профессор будет упорствовать, он вообще вряд ли дождетя опубликования своих материалов; мало того, наука рискует утратить их навсегда. Долго убеждал ее Франц, рассказывала Гедвига, и в его настойчивых уговорах звучала такая тревога, что порой она, хотя и знала в глубине души, что он подлец, готова была поверить в бескорыстие его доводов.

Это я хорошо понимал. Я представлял себе, какой вид был у Диркопфа, когда он убеждал девушку. Высокий, стройный, с привлекательным лицом, стоял он перед ней, погрузив свой бесцветный взгляд в самую глубину ее глаз, и льстивым голосом произносил слова, в которых была смесь мнимой рассудительности и нежности.

До этого времени он старался не занимать определенной позиции по отношению к Третьей империи и основанной ею церкви. Но теперь новые хозяева чувствовали себя достаточно сильными, чтобы от каждого потребовать недвусмысленного «да» или «нет». К Диркопфу подступились прямо. Он должен был ясно высказать свои убеждения – иначе ему грозила потеря должности. Перед ним стоял выбор: предать свою науку или покинуть страну. Наверно, это был нелегкий выбор для него.

Он остался. Он заключил мир с Третьей империей. Он не сказал свое «да» громко и во всеуслышание, – этого ему не хотелось, – но все-таки он сказал «да». В своей статье в ежемесячном журнале «Вопросы библейской критики» он по-прежнему выступил как представитель школы профессора Раппа. Но теперь он давал его тезисам новую интерпретацию, угодную «германским христианам». В другой статье он лишь слегка извратил эти тезисы, в третьей поставил перед ними обратный знак. Теперь Христос страждущий сменился «Христом, которого породила фантазия германцев, готским Кристом-меченосцем».

Вскоре после появления этой статьи умер профессор Рапп.

Франц Диркопф явился в дом на Зеленой улице. Он был потрясен. Предложил женщинам всяческую помощь. Принял участие в погребении. Неустанно произносил речи. Писал некрологи, «звучные, пустые некрологи» – добавила Гедвига.

Очень скоро стало ясно, куда он метит. Он вызвался разобрать и опубликовать литературное наследие профессора. Он дал понять его вдове и дочери, что власти могут принудить их выдать рукописи, ссылаясь на принципы Третьей империи, согласно которым наука принадлежит обществу, а общественное благо стоит выше личного.

Не жалея усилий, старался Диркопф уговорить женщин. Ему пришлось убедиться в их непреклонности. Он перестал бывать в доме на Зеленой улице.

Он женился на Тильде Шеффлер, дочери гаулейтера, того самого человека с жирными складками на затылке, которого я видел тогда с ним вместе в кафе. Он получил кафедру профессора Раппа и чин государственного советника.

Систематизацию рукописей профессора довести до конца не удалось. Фрау Рапп и ее дочь вызвали в полицию. Их поставили в известность, что теперь, после смерти профессора, его труды все больше и больше превращаются в источник враждебных государству идей. Для непокорных церковных кругов его сочинения служат агитационным материалом. Можно подозревать, что и наследие его будет использоваться так же.

За женщинами был установлен полицейский надзор. Начались обыски. Друзья и знакомые в страхе отшатнулись от неблагонадежных.

А потом как-то раз Гедвигу вызвали в полицию одну. Она ушла и больше не вернулась в дом на Зеленой улице.

Фрау Паулина бросилась в полицию, она бегала из одного ведомства в другое, часами просиживала в передних государственных и партийных главарей. Никто ничего не знал, никто не мог или не хотел сообщить ей о судьбе дочери.

Наконец, доведенная до отчаяния, она обратилась к Диркопфу.

Тот разыграл невероятный испуг.

– Почему же вы сразу не пришли ко мне? – спросил он с упреком. Он был крайне встревожен и обещал сделать все, что в его силах.

На другой день он позвонил. Ему удалось узнать, где находится Гедвига. Он сам и папаша Шеффлер просили обращаться с ней помягче, он надеется, что их ходатайство поможет. Однако причин ее ареста он пока не мог установить.

Еще день спустя он пришел в дом на Зеленой улице. Сообщил фрау Паулине, что власти каким-то образом пронюхали о спрятанных профессором материалах. Может быть, сама фрау Паулина неосторожно обмолвилась о них, а может быть, сообщил кто-то третий, неизвестный им человек, – ведь вполне вероятно, что профессор еще кому-нибудь открыл свою тайну. Он, Диркопф, конечно, знает, что бумаги, оставшиеся после профессора, имеют

чисто научный интерес, их при всем желании не используешь в политике. Но как вобьешь это в полицейские мозги? Пожалуй, единственное средство убедить полицию в том, что рукопись безвредна в политическом отношении, – выдать ей эту рукопись.

Фрау Паулина пришла в отчаяние. Диркопф просил, мягко, но напористо уговаривал ее передать ему содержимое несгораемого шкафа. Ведь он любил Гедвигу, он и сейчас еще любит ее, он не в силах вынести мысль, что она все еще в лагере, он не понимает, как может колебаться фрау Паулина. Она отказалась.

– Три дня я отказывалась, – продолжала она, – три ночи я не спала.

Потом, обессиленная, она сообщила Францу Диркопфу, где находится сейф: в Штутгарте, в Немецком банке. Они поехали туда – фрау Паулина и Диркопф – и открыли ящик.

Ящик был пуст. Диркопф, всегда такой вежливый, не сдержался.

– Вы солгали мне, – набросился он на фрау Паулину, – вы припрятали рукописи! Но ваши уловки вам не помогут.

Однако для фрау Паулины это было такой же неожиданностью, как и для него. Она была убита горем. Что же станет с Гедвигой теперь, когда манускрипт исчез?

Диркопф заметил, что фрау Паулина была расстроена не меньше его. Он взял себя в руки. Попросил прощения. Они поехали обратно в Баттенберг. В дороге они молчали.

– Куда мог он спрятать рукопись? – спрашивал несколько раз Диркопф.

– Я сама не знаю, – отвечала фрау Паулина.

– Я и теперь не знаю этого, – добавила она, – и не пойму, почему Карл Фридрих так поступил со мной.

Я вспомнил о лукавой усмешке, с которой профессор показывал мне ключ от сейфа, и, кажется, догадался, почему он скрыл свое сокровище даже от фрау Паулины. Он, очевидно, опасался, что бесхитростная женщина может невольно выдать тайну, и лишил ее этой возможности.

Вероятно, Францу Диркопфу пришли в голову те же соображения. Во всяком случае, под конец путешествия он, по словам фрау Паулины, стал опять таким, как всегда. Он еще раз попросил прощения, объяснив свою грубость исключительно любовью к

Гедвиге, которую, как он подумал в первый момент, теперь будет значительно труднее выволить из лагеря. Но сейчас, немного поразмыслив, он уже не смотрит на вещи так мрачно и, уж во всяком случае, сделает для ее освобождения все, что только сможет.

Несомненно, уже во время этой поездки он составил план дальнейших действий. Женщины больше не могли ему помочь, они и в самом деле ничего не знали, они были только помехой. Надо было избавиться от них. Надо было завладеть домом. Диркопф предполагал, что рукопись находится где-то в доме. Профессор спрятал ее там в каком-нибудь чуланчике или в одном из бесчисленных закоулков, а может быть, закопал в саду.

Гедвигу действительно вскоре выпустили. Но несколько дней спустя женщин вновь вызвали в полицию. Там им очень вежливо сообщили, что народ настроен к ним враждебно и есть основания опасаться эксцессов. Не хотелось бы ограждать их от народного гнева при помощи ареста. Для них было бы лучше уехать за границу. Если они согласны, им окажут всяческое содействие. Разрешение на выезд уже получено. В доме на Зеленой улице они, разумеется, должны все вещи, включая книги и мебель, оставить, как есть, для тщательного осмотра. Но немного денег и кое-что из ценностей им разрешается взять с собой. Им поставили срок. Десять дней.

– За два дня до нашего отъезда, – рассказывала Гедвига, – Франц пришел к нам в сопровождении полицейского чиновника. Он извинился, объяснив свой приход поручением осмотреть дом и проверить, все ли на месте, не исчезло ли что-нибудь. Он не считал возможным отклонить это поручение, так как нам, по его мнению, будет все-таки легче, если обыск произведет он, а не какой-нибудь бесчувственный, возможно, даже грубый чиновник. Сам он, конечно, ничуть не сомневается, что ни одна вещь из дому не исчезла, но власти все же дали приказ обыскать дом.

Он искал долго. Четыре часа.

– Он пришел к нам в двенадцать минут одиннадцатого, – продолжала Гедвига свой рассказ, – и ушел без двух минут два. Я смотрела на часы. Нам кажется, что у дьявола рога и когти, – проговорила она в раздумье. – А по-моему, именно таким, каким был в тот день Франц, и должен хороший художник в наши дни изображать дьявола: зло и только зло. Франц был обворожительно

вежлив. Но до конца жизни мне не забыть выражения его глаз, этих ищущих, внимательных, недоверчивых, полных чудовищной жадности глаз; какими быстрыми, испытующими взглядами осматривал он окружающие предметы, чтобы удостовериться, все ли на месте: мебель, произведения искусства, рукописи, книги. Не раз он бросал украдкой быстрые взгляды в нашу сторону – а вдруг мы все-таки что-нибудь знаем? – и снова возвращался к вещам, стенам, книгам. И при этом он непрерывно говорил, и это было самое подлое: он разыгрывал сочувствие, и сквозь его сочувствие прорывалось скрытое торжество. Наконец-то он завладел нашим домом и все-таки отыщет рукопись со знаменитой цитатой. Все это было неуловимо, но не исчезало ни на минуту, – это с трудом подавляемое, гнусное злорадство, отравлявшее воздух во всем доме, как запах плохих духов. А он все продолжал говорить и утешать нас: «Сейчас, сейчас кончится эта неприятная формальность. И будьте уверены – все будет сохранено, передано в верные и надежные руки, все будет использовано, как нужно, сам профессор не мог бы распорядиться лучше. А если рукопись вдруг отыщется – это ведь не исключено, – тогда вы сможете возвратиться и найдете все в полном порядке. Мы забираем ваш дом просто затем, чтобы он оказался в верных руках». Вы ведь знаете его голос, вы знаете его благовоспитанность, он всегда был примерным учеником и имел высший балл по поведению. Впрочем, мама держалась прекрасно, она мужественно сопровождала Диркопфа по всем комнатам, за все четыре часа она ни на минуту не присела, несмотря на невероятную утомительность этой процедуры, она серьезно и по-деловому отвечала на все вопросы.

Но какую выдержку должна была проявить сама Гедвига, чтобы ни разу за эти четыре часа не потерять самообладания и вытерпеть вкрадчивую низость человека, который еще недавно был ее женихом.

Она закончила свой рассказ.

– И вот теперь он живет в нашем доме, а мы сидим здесь.

Через некоторое время после моей встречи с фрау и фрейлейн Рапп ко мне приехал старик Шпенгель, библиотекарь из Швейцарии, очень знающий человек, с которым много и охотно работал профессор

Рапп. Теперь его услугами часто пользовался государственный советник Диркопф.

И ко мне тоже библиотекарь Шпенгель приехал по поручению государственного советника. Да, у Диркопфа хватило наглости прислать мне письмо, обратиться с просьбой. Настойчивые поиски позволили ему установить, в каком месте обнаружил профессор Рапп свой схолий. Правда, те, кто тогда имел дело с этой рукописью, не обратили внимания на цитату, оказавшуюся столь важным историческим свидетельством, или просто не поняли ее значения; однако, может быть, этим людям удастся припомнить хоть что-нибудь существенное для дальнейших поисков. Красивыми, убедительными фразами заклинал меня Диркопф не дать погибнуть открытию профессора Раппа, делу всей его жизни. Ради этого – просил он меня – я должен всеми силами оказывать содействие библиотекарю Шпенгелю. На карту поставлена судьба науки, судьба идеи, которой мы, хоть и из различных лагерей, в конце концов оба одинаково служим.

Библиотекарь Шпенгель рассказал мне, что государственный советник Диркопф не жалел ни труда, ни времени на розыски утраченного документа. Во всех банках страны полиция выясняла, не пользовался ли там сейфом профессор Рапп. Безрезультатно. Государственный советник Диркопф по-прежнему считает, что рукопись надо искать в доме на Зеленой улице. Он твердо убежден в этом, он просто одержим этой идеей.

– Разве не удивительно, – сказал библиотекарь Шпенгель, – что человек с такими заслугами, такой крупный ученый зарывает свое дарование в маленьком Баттенберге? Он, конечно, мог бы получить кафедру в Берлине, он вообще мог бы получить все, что захочет. Но сознание своего научного долга удерживает его в Баттенберге, в доме на Зеленой улице. Весь дом обследовали приглашенные им специалисты, они выстукали все стены, осмотрели каждую щелочку, перекопали весь сад. Он, государственный советник, – мне об этом рассказывал садовник, – сам иногда встает среди ночи, вооружается киркой и, весь во власти одной неотступной мысли, копает, копает до утра.

Заметив, как я заинтересовался, господин Шпенгель продолжал свой рассказ. Родные государственного советника – говорил он –

смотрят на его упорные старания во что бы то ни стало разыскать рукопись как на манию, навязчивую идею. Гаулейтер Шеффлер очень сердит на зятя за то, что тот отклонил приглашение в Берлин из-за такой «глупости». Жене профессора Диркопфа, дочери гаулейтера, жизнь в доме на Зеленой улице стала невыносима. Она хочет пользоваться всеми радостями жизни, ее возмущает, что муж предпочел переезду в Берлин этот неудобный дом и бессмысленную погоню за своей химерой. Она почти все время живет врозь с мужем; поговаривают, что она собирается окончательно разойтись с ним.

– Вот какие жертвы приносит профессор ради науки, – заключил библиотекарь Шпенгель с видом глубочайшего уважения к своему клиенту.

Этот рассказ я слушал с истинным злорадством. Франц Диркопф силой завладел домом на Зеленой улице, он выжил оттуда профессора и его семью. Но дом не принес ему счастья.

Этого я желал все время, на это надеялся, этого ждал. Профессор Рапп назвал Диркопфа подлецом, но Франц Диркопф не был обыкновенным подлецом, не был только карьеристом. Я долго и внимательно изучал его зоркими глазами недоброжелателя, и я знал, что не простое тщеславие, а нечто большее гнало его на поиски рукописи Симмаха Милетского. Франц Диркопф был ученый, обладал интуицией, фантазией.

Франц Диркопф всю жизнь штудировал наставления первого иудео-христианского катехизиса, притчи Ветхого и Нового завета, поучения Нагорной проповеди; он исследовал образы предателей и лжепророков, сложившиеся в древних легендах, – начиная с Валаама и кончая Иудой. Дух библейских мыслей и представлений не мог не войти в его плоть и кровь. Трудно поверить, чтобы повседневное соприкосновение с миром этих идей не оставило в нем следа. Пусть его изворотливый ум стряпчего сколько угодно противопоставляет им тезис о расе господ, пусть он называет иудео-христианские воззрения смехотворными свидетельствами слабости, жалким атавизмом, нелепыми пережитками века магии – все равно я с математической точностью могу утверждать, что он по-прежнему насквозь пропитан

учением Библии. Его натура ученого, его совесть всегда остаются при нем, какие бы названия он для них ни придумывал.

Мне вспомнилась та давнишняя встреча в кафе, когда Диркопф рассказывал мне о доме на Зеленой улице. С первых проблесков сознания он чувствовал, как манит его к себе этот дом и в то же время тяготит. Необычайно пластично умел он передать, до чего живыми были для него все вещи в доме. Я представлял себе, с каким отчаянием он рвется теперь из плена этих детских фантазий, как отбивается от них всей силой своего новообретенного оружия – циничного рационализма. И как он все-таки не может их побороть. Призрачная жизнь, которой наделило все вещи в доме воображение ребенка, продолжалась – еще более мучительная и причудливая. Он сидел за письменным столом, за огромным письменным столом из монастырской трапезной, и работал – и не в силах был побороть свое смятение, и стол подавлял его своей громадой, грозил ему. Пугающие тени подстерегали в темных извилистых коридорах. Бог осенял сивиллу, и она начинала прорицать, вещать ему «негодующими устами о невеселом, о неприкрашенном и неприкрытом». Книги, которые он читал, были испещрены пометками профессора; Франц Диркопф неизбежно должен был видеть перед собой руку, написавшую эти буквы – тонкие, изящно-капризные, кружевные узоры греческих и большие, массивные, неуклюжие квадраты древнееврейских. И вряд ли мог Франц Диркопф найти покой и забыться, отдыхая в саду, на каменной скамье с удобными подушками, положенными туда заботливой рукой еще при жизни профессора, и глядя вверх, на ветви большого клена, любимого дерева профессора.

В доме отовсюду грозит опасность, дом сводит его с ума, он это знает. Но дом держит его в плену. И вот он выходит в ночную пору в сад и роет, и ищет, и ищет, и роет. Он попусту изнуряет себя, жалкий кладоискатель, ему не откопать ничего, кроме дождевых червей. Я спокоен за моего профессора Раппа. Тот действовал наверняка, тот сделал все, что надо. Он так хорошо укрыл своего Симмаха, что никакой Диркопф его не найдет. Он, осторожный человек, коварно, довольный своей предусмотрительностью, приподнял перед Диркопфом завесу ровно настолько, чтобы тот был уверен: да, документ существует, но один он не сумеет им воспользоваться. И пусть он раскопает весь Шварцвальд, пусть не один, а десяток

немецких библиотекарей вверх дном перевернут по его поручению все сокровищницы антикваров во всем мире – он не найдет ничего. Профессор не отдаст манускрипт тому, кто в ложь превратил правдивое слово ученого.

На третьем году войны я вновь встретился с библиотекарем Шпенгелем. Он рассказал мне, как окончил свои дни государственный советник Диркопф.

Его навязчивая идея, его мания раскопок все больше и больше овладевала им, и именно эта мания его в конце концов и погубила.

Единственная бомба, сброшенная однажды ночью над территорией Баттенберга, убила его. Предполагают, что это была последняя бомба, оставшаяся у летчика, который возвращался после выполненного задания и, по-видимому, заметил свет в саду Диркопфа.

Узнав об этом, – честно признаюсь, – я осушил чашу моей радости до дна и не выплеснул из нее ни единой капли.

Не так давно я, между прочим, опять встретил Гедвигу.

– У меня не выходит из головы манускрипт, – сказала она. – Отец определенно запечатал его в металлический сосуд, а пергамент покрыл тонким слоем масла. И мне кажется, не знаю почему, что он зарыл его в поло, засеянном пшеницей.

В этой мысли было что-то волнующее. Моему воображению живо представилось то, о чем говорила Гедвига: ветер колышет пшеницу, а под ней глубоко и надежно хранит мать-земля сосуд с рукописью.

notes

Примечания

1

Филон из Александрии (30 г. до н.э. – 45 г. н.э.) – выдающийся античный мыслитель, по происхождению иудей.

Церковь германских христиан – была создана в 1932 г. пронацистскими элементами, чтобы сломить сопротивление протестантов, объединившихся вокруг движения так называемой «исповедальной церкви». «Исповедальная церковь», руководимая выдающимся немецким пацифистом Мартином Нимеллером (род. в 1892 г., ныне Лауреат международной Ленинской премии мира), отказывалась признавать национал-социализм «божьим откровением», открыто боролась против нацистских расовых законов. В 1937 г. М.Нимеллер был заключен в концлагерь Заксенгаузен, позднее переведен в Дахау, где находился до 1945 г. Движение «немецких христиан», не имевшее серьезной опоры в народе, вынуждены были распустить сами нацисты (в 1936 г.).